



Интервью с Михаилом Валентиновичем МАСЛОВСКИМ

«МЕНЯ ИНТЕРЕСОВАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕЙ ВЕБЕРА ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

Масловский М. В. — окончил философский факультет Ленинградского государственного университета (1991 г.); доктор социологических наук (2004 г.); ведущий научный сотрудник Социологический института РАН, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Основные области исследования: история социологии, историческая социология, социология Макса Вебера, политическая социология. Интервью состоялось: сентябрь-ноябрь 2014 г.

Мне кажется, что в силу ряда обстоятельств интервью с Михаилом Валентиновичем Масловским привлечет многих; назову два важнейших из них. Во-первых, он закрепился в группе ведущих в стране теоретиков и историков социологии. Во-вторых, изучение становления пятого поколения советских/российских социологов (годы рождения: 1959-1970) лишь началось, и рассказ каждого представителя этой когорты о своей жизни крайне важен в историко-научном плане.

Но я хотел бы коснуться двух «внутренних» моментов интервью Масловского, представляющихся ценными для развития, уточнения методологии данного историко-социологического проекта, который существует уже 10 лет и включает в себя биографии без малого 90 российских социологов 7-ми поколений.

В первые годы интервьюирования я спрашивал моих респондентов об их родителях и знании ими истории семьи, но рассматривал эти вопросы лишь как расширение традиционной «паспортички» в анкетном опросе. Позже, по мере накопления биографической информации, появились смутные представления о том, что становление человека социологом каким-то образом детерминировано его семейной историей. Подобная детерминированность просматривается в ряде профессий (например, военные и крестьяне, музыканты и художники, математики и физики), но было не ясно, сохраняется ли она и в какой форме проявляется применительно к социологии. Ведь представители первых трех поколений в принципе не могли быть «посланцами» семей социологов, ибо социологии в СССР не существовало и к такой профессии не готовили.

Несколько лет назад я ввел понятие предбиографии человека, которое в общем случае характеризует особенности семьи этого человека до его рождения. Конкретно, меня интересует, присутствует ли в предбиографии социолога то, что могло дать импульс его движению в эту науку.

Я знаю ряд семейных историй, в определенной мере подтверждающих связь предбиографии и биографии российских социологов, но рассказанное Масловским — особое, выпуклое, не позволяющее сомневаться в активности предбиографии.

Знакомство с историей семьи Масловского показывает, что он с большой вероятностью должен был избрать философскую стезю и сосредоточиться на анализе теоретико-исторической проблематики. К этому его «вели» обе родительские ветви. Обратимся к рассказанному им.

Прадед Михаила по отцовской линии был православным священником, и несколько поколений его предков также принадлежали к духовенству. Дед, вернувшись с войны, долгое время работал учителем в сельской школе. Отец был доктором сельскохозяйственных наук, профессором, значит тоже был склонен теоретическим рассуждениям и обобщениям. Дед со стороны матери был убежденным коммунистом, партийным работником, не придававшим большого значения бытовой стороне жизни, незадолго до войны он был направлен в армию на должность батальонного комиссара. Сказанное позволяет допустить, что он многое читал и старался понять ход политических процессов в стране. Подтверждение: его часть находилась в Белоруссии, он предчувствовал приближение войны и накануне 22 июня отправил семью в Горький. Мать Михаила окончила историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета и в течение десяти лет преподавала в средней школе русский язык и литературу.

В таком плотном «философско-историко-филологическом поле» Михаил — теперь нередко говорят — был обречен стать философом и/или историком. Если здесь не действуют законы генетики, т.е. в чистом виде не существует биологической детерминации склонности к теоретизированию в области гуманитарных наук, то определенно существует социально-биологическая. Он сам говорит: «Прежде всего от мамы я унаследовал пристрастие к чтению и интерес к гуманитарным наукам». И уже когда вызревало решение получить фундаментальное гуманитарное образование, то на его выбор оказал влияние его родственник, закончивший духовную семинарию и поступивший в духовную академию в Загорске. Не будучи религиозным, Михаил искал светский аналог духовной академии.

Предварительный анализ собранного архива биографической информации позволяют уже сейчас обсуждать различные аспекты предбиографической проблематики, но это выходит за рамки традиционно коротких вводов к публикуемым интервью. Поэтому коснусь еще одной «внутренней темы» — это комплекс вопросов о путях развития российской социологии в ближайшей перспективе. Будут ли новые поколения ученых рассматривать сделанное их предшественниками в качестве составляющей фундамента своих методологических построений и учитывать их выводы, найдут ли применение собранные в прошлом эмпирические данные, сохранятся ли приоритетными те направления социологии, которые были таковыми в доперестроечный период? Или все это станет лишь предметом историко-социологического анализа?

Все эти и аналогичные вопросы существовали и до середины 1990-х, но все же они носили несколько умозрительный характер, поскольку практически все активные социологи получали образование в советских ВУЗах и работали по темам, в той или иной степени связанными с исследованиями доперестроечного времени. Но затем в науку стали входить представители младших страт пятого поколения, ровесники М. В. Масловского, и позже – шестого (1971–1982 гг. рождения) и уже – седьмого (1983–1994 гг. рождения). Уже было другое государство, иная социально-политическая реальность, новое видение общества и науки о нем, открылись ранее замурованные каналы вхождения в социологию.

На мой вопрос: «...Нет ли у нас основания говорить о том, что творчество значительной части 30-ти и 40-ка летних социологов крайне слабо, весьма условно можно трактовать в рамках развития традиций социологов-шестидесятников»? Масловский ответил: «...я не стал бы говорить, что нет совсем никакой преемственности между советской социологией и представителями моего поколения. Но в рамках этого поколения, по-видимому, можно выделить различные группы, расположенные на определенном континууме: от тех, кто изначально был ориентирован исключительно на западные подходы до тех, кто в значительной степени воспринял традиции, заложенные предшествующими поколениями отечественных исследователей». Согласен с этим положением и думаю, что его эмпирическая проверка станет одной из задач данного проекта. Его историческая направленность постепенно достраивается футурологической.

Масловский М. В.: «Меня интересовало использование идей Вебера для объяснения социально-исторических процессов»

Михаил, во время нашей короткой встречи в Москве Вы сказали мне, что недавно переехали в Питер из Нижнего Новгорода. Часто я начинаю интервью с вопросов моему собеседнику о его родительской семье, городе, в котором он рос. Однако Вас прежде всего хотел спросить, как живется на новом месте. Однако в справочнике «Социологи России» отмечено, что Вы окончили ЛГУ. Так, может быть и родились в Ленинграде? Так мой вопрос о месте ранней социализации и желание узнать, как складывается жизнь в Питере, частично «пересеклись». Пожалуйста, расскажите о Вашей родительской семье, насколько глубоко Вы знаете ее историю, и где же Вы родились.

Родился я все-таки не в Ленинграде, а в Горьком – нынешнем Нижнем Новгороде. Впервые приехал в Ленинград в 1984 году, когда собирался поступать в ЛГУ. Историю своей семьи я знаю не так глубоко, как мне бы хотелось. Могу проследить ее лишь до начала XX века. Я понимаю, что нет возможности вдаваться в подробности. Остановлюсь только на некоторых основных вехах семейной истории.

Мой прадед, Евгений Михайлович Масловский, был православным священником. Несколько поколений его предков также принадлежали к духовенству. Прадед и его супруга, Александра Александровна, были хорошо образованными людьми. Он не сразу последовал семейной традиции, приняв сан священника. Не могу сказать, произошло ли это накануне революции или уже в годы гражданской войны. Понятно, что в 30-е годы он не мог осуществлять свое церковное служение. Его арестовали за «антисоветскую агитацию» в ноябре 1937 года. От одного из родственников я слышал, что прадед умер в лагере в Архангельской области осенью 1941-го. Не знаю, насколько достоверны эти сведения. Мой дед, Виктор Евгеньевич, воевал, был тяжело ранен. После войны он долгое время работал учителем в сельской школе вместе с бабушкой, Прасковьей Васильевной, которая происходила из простой крестьянской семьи.

Со стороны матери один из моих прадедов, Иван Тимофеевич Волков, также был крестьянином. В период коллективизации семью раскулачили, а он оказался в заключении и вскоре умер. Его дочь и моя бабушка, Вера Ивановна, к этому времени уже переехала в город вслед за своей старшей сестрой. Из рассказов бабушки я многое узнал о жизни советской деревни конца 20-х годов и о городской жизни в 30-е и последующие годы. Дед, Михаил Иванович Болтаевский, был партийным работником. О его предках мне ничего неизвестно. Незадолго до начала войны деда направили в армию на должность батальонного комиссара. Летом 1941-го его часть находилась в Белоруссии, и он пропал без вести в первые недели войны. По-видимому, он предчувствовал ее приближение. Ему удалось отправить семью в Горький буквально накануне 22 июня. Насколько я могу судить по рассказам родственников, дед был убежденным коммунистом и не придавал большого значения бытовой стороне жизни. Бабушка была более

практичным человеком. Она в полной мере впитала в себя народную мудрость и крестьянский здравый смысл. После войны она работала в столовой вначале поваром, потом заведующей производством. Она вышла на пенсию через год после моего рождения. Главным образом именно она занималась моим воспитанием в раннем детстве.

Мои родители получили высшее образование. Отец, Валентин Викторович, был доктором сельскохозяйственных наук, профессором, с начала 90-х годов заведовал кафедрой в Нижегородской сельскохозяйственной академии. Мама, Антонина Михайловна, окончила историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета. Она в течение десяти лет преподавала в средней школе русский язык и литературу. В силу ряда причин ей пришлось уйти из школы и в дальнейшем она работала не по специальности в одном из горьковских НИИ. Прежде всего от мамы я унаследовал пристрастие к чтению и интерес к гуманитарным наукам.

... да, вся история нашей страны...интересно и драматично... в чем же в школьные годы выражались Ваше пристрастие к чтению и интерес к гуманитарным наукам?

У нас дома была обширная библиотека. Я читал много, но довольно бессистемно. Прежде всего, это конечно же была художественная литература – русская и зарубежная классика. Кроме того, меня очень интересовала история, в особенности античная и российская дореволюционная. С серьезной философской литературой в старших классах школы я еще не был знаком. По настоянию мамы со второго класса я ходил на частные уроки английского языка. В какой-то момент мне это надоело и я бросил занятия, но в старших классах возобновил их уже по собственной инициативе. В результате за последние два школьных года я прошел программу первого и второго курсов иняза. Мой преподаватель, Светлана Петровна Коваленко, научила меня, прежде всего, свободному владению разговорным английским, чего мне никогда не дали бы школа и обычный вуз. Школу я закончил с золотой медалью. Учеба давалась мне довольно легко, хотя и приходилось преодолевать отсутствие склонности к естественным наукам. Любимыми предметами всегда были литература и история, но по мере возрастания идеологической составляющей этих предметов при переходе к изучению советского периода интерес к ним стал ослабевать. Уже тогда официальная советская идеология вызывала у меня отторжение.

Чем было вызвано это отторжение? Вы заканчивали школу в годы завершения брежневского периода – время не самое «злое». Вы, судя по всему, состояли в ВЛКСМ, тогда все, тем более – хорошие ученики, были комсомольцами.

Разумеется, я был комсомольцем. Послушно сидел на собраниях, но не стремился к каким-либо руководящим должностям. Хотя в десятом классе меня вынудили стать членом школьного комитета ВЛКСМ, я эту общественную работу в основном саботировал, отговариваясь необходимостью подготовки к выпускным экзаменам. К началу 80-х годов формализм и бюрократизация ВЛКСМ, кажется, превысили все мыслимые пределы. Поздний брежневский период был, действительно, не самым злым временем, но очень уж тусклым. Постепенно у меня сложилось скептическое отношение к официальной идеологии. Оно фор-

мировалось под влиянием разных источников. У нас дома никогда не велись явно антисоветские разговоры. Но от других родственников я иногда слышал достаточно резкие высказывания. Некоторые отголоски непростой семейной истории все-таки до меня доходили. В то же время в школе и во дворе антисоветские анекдоты были вполне обычным делом. Кроме того, в старших классах школы я уже пытался слушать западные радиостанции. Я знал о горьковской ссылке академика Сахарова, о потерях советских войск в Афганистане, о реакции в мире на сбитый южнокорейский Боинг. Обо всем этом я говорил лишь с двумя-тремя близкими друзьями. Кстати, мой одноклассник, с которым мы тогда обменивались запретной информацией, возглавляет сегодня в Нижнем Новгороде известную правозащитную организацию. В целом к окончанию школы я определенно не ощущал себя стопроцентно советским человеком.

Когда было принято решение о продолжении обучения в именно в Ленинграде? На какой факультет ЛГУ Вы поступали?

Я поступал на философский факультет. Окончательно это решение созрело примерно за полгода до школьных выпускных экзаменов. Я хотел получить фундаментальное гуманитарное образование и сомневался в том, что это было возможно в горьковских вузах. Философия же представлялась тогда некоей наукой наук, своего рода высшей математикой для гуманитариев. Тем не менее, какой-то специальной философской литературы я не читал, и у меня сложилось лишь достаточно поверхностное представление о древнегреческой философии из литературы по античной истории. По-видимому, косвенное влияние на мой выбор оказало то, что мой родственник, с которым я много общался, двоюродный брат моей мамы (он старше меня на семь лет), к этому времени закончил духовную семинарию и поступил в духовную академию в Загорске. Кажется, что, не будучи религиозным, я искал какой-то светский аналог духовной академии. Безусловно, при выборе места учебы сыграло свою роль самонадеянность провинциального отличника. Но я все-таки был не настолько уверен в своих силах, чтобы поехать поступать в Москву. Однако и в Ленинградском университете для того, чтобы подать документы на «идеологический» факультет, требовалась рекомендация партийных органов. Ее удалось получить с помощью друга нашей семьи, журналиста, у которого были достаточно широкие связи в партийном аппарате. Вызывало сомнения то, что Ленинград был для меня совершенно незнакомым городом. Правда, там жил мой друг, с которым я вел постоянную переписку. Затем нашлись дальние родственники, у кого можно было остановиться на время экзаменов. Наконец, летом 1984-го я оказался в этом городе. С золотой медалью я мог сдавать только один экзамен — обществоведение. Отличную оценку мне не поставили, но и с четверкой можно было продолжать борьбу. Получив «четыре» за сочинение и «пять» по истории и английскому языку, я поступил с первой попытки. Набранных баллов хватило, чтобы быть зачисленным на отделение философии.

Вы учились в интересное время. В апреле 1985 года М. С. Горбачев после избрания его Генеральным секретарем ЦК КПСС приехал в Ленинград и фактически объявил о начале перестройки. Стало возможным говорить то и так, о чем раньше нельзя было говорить вообще. Как жил философский факультет? Кто из преподавателей захватывал умы студентов?

Марксизм-ленинизм очень быстро терял свою идеологическую функцию. Как Вам преподавали марксистскую теорию, кто вводил Вас в историю философии, современные западные философские концепции?

Так получилось, что я застал два разных периода в жизни факультета. Как известно, одним из первых нововведений перестроечного «интересного времени» стала отмена отсрочки от военной службы для студентов вузов, и после окончания второго курса в июне 1986-го меня призвали в армию. Об этом социальном опыте и его значении для моего профессионального самоопределения нужно будет рассказать отдельно.

На первых двух курсах с 1984 по 1986 год образование на факультете еще оставалось традиционно советским. В число изучаемых предметов входили, в частности, история КПСС, политэкономия социализма и тому подобное. Меня интересовала, прежде всего, история философии. Однако преподавание истории античной философии на первом курсе велось не на столь высоком уровне, как я ожидал. На втором курсе большой популярностью у студентов пользовались лекции по истории философии Нового времени, которые читал К. А. Сергеев. Кстати, на одной из этих лекций произошел эпизод, свидетельствовавший о том, что в начале перестройки идеологический контроль на факультете оставался достаточно жестким. Несколько студентов нашего курса решили провести своего рода театрализованное представление в годовщину восстания декабристов 14 декабря 1985 года, не предупредив об этом ничего не подозревавшего преподавателя. В результате этого проявления свободомыслия Сергеева, по слухам, вызывали для объяснений в городское управление КГБ. Понятно, что ничего явно антикоммунистического в лекциях по истории философии Ренессанса и раннего Нового времени не могло содержаться. Но уже тот факт, что этот материал преподавался на основе тщательного анализа первоисточников и без постоянных ссылок на классиков марксизма, влиял на неокрепшие юные умы, побуждая их порой к эксцентричным поступкам. Еще более сомнительным, с точки зрения идеологической ортодоксии, был курс по истории немецкой классической философии, который преподавал Е. С. Линьков. Вокруг него сложился своеобразный гегельянский кружок. Я в этот кружок не входил, а лекции Линькова слушал уже на третьем курсе, когда мои интересы существенно изменились. В рамках более традиционных предметов также могли высказываться не вполне ортодоксальные идеи. Например, на семинарских занятиях по диалектическому материализму один из преподавателей знакомил нас с идеями Э. В. Ильенкова. В конечном итоге любые отступления от догматического марксизма-ленинизма оставались на абстрактном теоретическом уровне. Скорее всего я также занимался бы сугубо философской проблематикой. Но начинающего философа весьма бесцеремонно вытолкнули из башни из слоновой кости и вынудили соприкоснуться с реальной жизнью в рядах Советской армии.

Так, теперь, как и обещали, пожалуйста — о социальном опыте службы в армии и его значении для вашего профессионального самоопределения

К военной службе я был совершенно не приспособлен. Это проявилось в достаточной мере уже в ее первые месяцы, которые прошли в учебной части в Чите. Затем я оказался на территории Монголии, в паре сотен километров к востоку от Улан-Батора. Едва успев, стоя в карауле, познакомиться с пре-

лестями монгольской зимы, я попал с ангиной в полковой медпункт. В дальнейшем мне пригодилось знание английского языка, что было довольно-таки неожиданным. Лейтенант, начальник медпункта заметил, как я перелистывал небольшой англо-русский словарь. Выяснилось, что офицеры части покупали аудио- и видеотехнику японского и южнокорейского производства, которую в СССР достать было крайне сложно, но инструкции к ней были исключительно на английском. Кажется, я был единственным человеком в полку, владевшим этим языком. Какое-то время я переводил инструкции к видеомагнитофонам. Все они были однотипными, и их перевод не представлял для меня особой сложности. Но, естественно, я тянул время. Вскоре знание марксистско-ленинской философии также оказалось востребованным. Парторгу полка, подполковнику, который заочно учился в высшей партийной школе, нужно было писать конспекты, а заодно и делать шпаргалки к экзаменам. В результате я получил от командования новое ответственное задание.

В конечном итоге за все эти боевые заслуги мне досталась синекура — должность санинструктора при полковом медпункте. Это было самое «блатное» место, если не считать должностей писаря и хлебореза. У меня появилась возможность наблюдать неформальные отношения не только между солдатами, но и между офицерами части. Я сам оказался включен в сеть этих отношений. Однако выгодами своего нового положения в полной мере я пользоваться не умел. Прежде всего, я старался найти время для чтения. Разумеется, в полковой библиотеке не было какой-то философской литературы, кроме собраний сочинений классиков марксизма-ленинизма. Но уже начинался период гласности, и множество интересных материалов выходило в периодических изданиях. По утрам в воскресенье почтальон приносил газеты и журналы для офицеров медпункта, и все это оставалось в моем распоряжении почти целые сутки. Я читал, не отрываясь, «Огонек», «Московские новости», «Литературную газету» и другие издания. Информация, которая раньше поступала по крупицам из передач западных «голосов», полилась все более расширяющимся потоком. Сочетание нового социального опыта, который я никогда не приобрел бы в академической среде, с чтением перестроечной прессы привело к своеобразным результатам. Конечно, было бы преувеличением утверждать, что армия сделала из меня социолога. Но в любом случае я получил определенный импульс для движения в этом направлении.

На собственном опыте я убедился в том, что, по выражению какого-то советского философа, которое с иронией цитировал Г. С. Батыгин, «люди живут шайками». Я мог наблюдать особенности некоторых из таких «шайек», в частности, национальных землячеств. Однако дело было не только в осознании вездесущности неформальных социальных связей и практик в поздний советский период. Осмысливая впоследствии полученный опыт, я обнаружил также, что во всех системах, основанных на эксплуатации принудительного труда, действуют аналогичные социальные механизмы. Над основной массой бесправных эков или солдат возвышаются те, кто извлекает выгоду из их труда, используя для этого как формальные, так и неформальные структуры (примерно в таких терминах я определял это несколько лет спустя). Когда я читал Солженицына, то с изумлением видел, что описанное им в какой-то мере мне знакомо. Я вовсе не хочу сказать, что Советская армия конца 1980-х представляла собой ГУЛАГ light. Масштабы человеческих страданий здесь несоизмеримы. Безусловно,

я не испытал и сотой доли того, что вынес тот же Солженицын, даже находясь в пресловутой шарашке. Но мне стали понятны многие вещи, которые самому добросовестному западному историку неизбежно представляются лишь каким-то запредельным и бессмысленным ужасом. Я неоднократно убеждался в этом, обсуждая с западными коллегами различные сюжеты, например, сопоставляя «Записки из мертвого дома» и «Архипелаг ГУЛАГ». Как бы то ни было, по возвращении из армии я интересовался уже не столько изрядно подзабытой историей философии, сколько социальными отношениями, существовавшими в советском обществе.

Что Вы застали на факультете, вернувшись из армии, чем изменилась Ваша студенческая жизнь?

Когда я вернулся на факультет осенью 1988 года, атмосфера там была уже совсем иной. Догмы официальной идеологии можно было больше не воспринимать всерьез. Я пытался наверстать упущенное время и с жадностью набросился на чтение самой разнообразной литературы. Специализировался я по кафедре исторического материализма, ставшей затем кафедрой социальной философии. Однако я далеко не ограничивался рекомендуемой на занятиях учебной литературой. Много общался со своими бывшими однокурсниками, которые теперь учились на пятом курсе, узнавая от них о ставших доступными источниках. По факультету циркулировали ксерокопии различных книг, в частности, трудов дореволюционных русских философов. Но эта литература не очень меня привлекала, хотя, например, сборник «Вехи» я прочел с большим интересом. Тогда же я достал ксерокопию изданного ИНИОН перевода веберовской «Протестантской этики и духа капитализма». Первое впечатление от этого текста было достаточно сильным, но я еще не предполагал, что идеи Макса Вебера вскоре окажутся в центре моих интересов. Много времени я проводил в библиотеках. Хотя спецхран еще существовал, возможности доступа к ранее запретной литературе неуклонно расширялись. Постепенно я начал все более ориентироваться на англоязычную литературу по социальным наукам. Добывать ее удавалось из разных источников. Что-то я находил в библиотеках, некоторые работы давал мне мой научный руководитель Г. Ф. Сунягин. Например, от него я получил книгу П. А. Сорокина «Современные социологические теории», которая стала для меня введением в историю социологии. С зарубежной литературой о советском обществе дело обстояло сложнее, но какие-то источники все равно находились. Так, когда на факультет приехала делегация американских университетских преподавателей, одна из них подарила мне и моим однокурсникам, которые с ней общались, несколько книг. В их числе была работа А. Гетти о сталинских чистках “Origins of the Great Purges”. Впоследствии «ревизионистский» подход к советской истории, который представлял Гетти, имел для меня большое значение. Однажды мне удалось купить в книжном магазине на Литейном проспекте английское издание работы М. Фуко «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы». Я ее тщательно изучил, а затем ее брали у меня аспиранты факультета и даже К. А. Сергеев, на лекции которого произошел упоминавшийся эпизод с «декабристами». Модель дисциплинарной власти представлялась мне чрезвычайно интересной, но последователем Фуко я, тем не менее, не стал.

Следует упомянуть также об одном событии, повлиявшем на мои жизненные планы. По окончании четвертого курса летом 1990-го я провел две недели в Соединенных Штатах. Попал я туда по программе, организованной довольно одиозной «Церковью объединения» Мун Сон Мена. Представители этой секты провели конкурс среди студентов московских и ленинградских вузов, пригласив на краткосрочную поездку в США в общей сложности несколько сот человек. Промывание мозгов, которому нас там пытались подвергнуть, никак на меня не подействовало. Мне казалось очевидным, что человек, читавший Достоевского, не может уверовать в мунизм. Но культурный шок я, безусловно, испытал. Нас провезли по американскому восточному побережью, показав Нью-Йорк, Филадельфию и Вашингтон. Нужно учитывать, что до того момента единственным заграничным городом, который я видел, был Улан-Батор. Не стану утверждать, что изобилие потребительских товаров оставило меня полностью равнодушным, но одним из самых сильных впечатлений стал книжный магазин при Колумбийском университете. После этой поездки окончательно созрело решение продолжить образование в западном университете, и я начал предпринимать шаги в этом направлении.

Был ли у Вас интерес к практической политической жизни: предлагали ли в армии вступить в КПСС, задумывались ли о вступлении в какую-либо из новых партий, участвовали ли в каких-либо политических клубах, ассоциациях, коим числа в городе не было?

Ответ на этот вопрос может быть столь же кратким, как 14-й том сочинений Боконона в известном произведении Курта Воннегута. При весьма просторном заглавии этот том включал в себя одно слово и точку: нет. Я никогда не вступал в какие-либо партии, включая КПСС, и не принимал участия в общественно-политической жизни перестроечного периода.

Вернемся к сказанному Вами выше: «...по возвращении из армии я интересовался уже не столько изрядно подзабытой историей философии, сколько социальными отношениями, существовавшими в советском обществе». Какие стороны, грани этих социальных отношений стали интересовать Вас? Какие последствия – в плане Вашей специализации – произошли?

Первоначально речь могла идти лишь об интересе к этой проблематике, но не об ее серьезном изучении. Такой интерес какое-то время оставался преимущественно теоретическим. Я стремился найти теоретические подходы, позволявшие объяснить то, что я увидел в армии, а также и то, что прочел в перестроечной прессе. В первую очередь меня интересовали социальная структура советского общества и сложившиеся в нем отношения власти. Не имея в своем распоряжении иных подходов, кроме марксизма, я заинтересовался попытками критиков советской системы поставить официальный марксизм с ног на голову, применив его к самой этой системе. На рубеже 80–90-х годов на меня повлияли различные версии теории «нового класса» (М. Джилас, М. Восленский) – своего рода анти-советский исторический материализм. Откровением стал анализ «реального коммунизма» в работах А. Зиновьева. Однако в тот период я еще не пытался писать какие-то собственные тексты по этой тематике. В своей дипломной работе я представил довольно поверхностный обзор теорий постиндустриального обще-

ства, единственным достоинством которого было широкое использование англоязычных источников. Правда, я всячески подчеркивал там нехитрую мысль, что социальные отношения советского типа служили тормозом научно-технического прогресса. Стремление понять, что же представляло собой советское общество, еще более усилилось уже после распада СССР. В конечном итоге можно было свести это к вопросу, который один британский политолог сформулировал в начале 90-х годов следующим образом: почему советская система просуществовала так долго и рухнула так быстро? К более систематическим поискам ответа на этот вопрос я приступил в 1993 году параллельно с получением социологического образования – в его британской версии.

После завершения обучения Вы уже стали социальным философом, т.е. социологом-теоретиком. Как Вам удалось получить возможность изучать социологию в Англии? Какова была программа обучения?

Сказать, что я уже стал социологом-теоретиком по окончании философского факультета, было бы преувеличением. Скорее я находился на пути к этому. Лишь завершив магистерскую программу в британском университете, я действительно мог считать себя социологом. Еще на пятом курсе ЛГУ я начал искать возможности продолжить образование за рубежом. Сдал тесты TOEFL и GRE с весьма высокими результатами и отправил свои документы в ряд американских университетов, но нигде не получил стипендию, которая покрыла бы все расходы на обучение и проживание. Вернувшись в 1991 году в Нижний Новгород и поступив в аспирантуру, я продолжил эти попытки. Наконец, через два года мне удалось получить стипендию Британского Совета (British Council Fellowship) на годовичную программу обучения в магистратуре в Университете Уорвика, где я и оказался в конце сентября 1993-го. Сама программа включала три учебных курса, по которым проводились еженедельные семинарские занятия, но основным акцент делался на самостоятельную работу. По каждому изучаемому курсу нужно было написать два эссе по пять тысяч слов, а затем еще магистерскую диссертацию в десять тысяч слов. В общей сложности в течение года требовалось представить тексты, общий объем которых примерно соответствовал российской кандидатской диссертации. Я записался на два теоретических курса, один из которых разработала Маргарет Арчер, социолог с мировой известностью, за несколько лет до этого бывшая президентом Международной социологической ассоциации (правда, занятия в моей группе проводил ее ассистент). Еще один курс был по сути обязательным для российских студентов. Этот курс был посвящен социальным изменениям в российском обществе и вел его Саймон Кларк. Помимо российских и британских магистрантов и аспирантов, в рамках этого курса выступали с докладами социологи, занятые в исследовательском проекте С. Кларка в России, которые периодически приезжали в Уорвик на короткое время. Именно тогда я впервые соприкоснулся с эмпирическими исследованиями и оказался в среде социологов.

Об этой программе, о Саймоне Кларке рассказано в интервью с Павлом Романовым, Ириной Тартаковской и Елены Ярской. Они тоже стали считать себя социологами после обучения в Англии. В чем же «тайна» этой программы? В содержании, методике, атмосфере? Как Вы думаете сейчас?

Не буду повторять то, о чем уже рассказали коллеги. Конечно же, там была особая атмосфера, и это было связано в первую очередь с обаянием личности Саймона Кларка. Прежде всего, Саймон стремился объединить вокруг себя тех, кто обладал определенными человеческими качествами, не обязательно имея при этом большой опыт проведения исследований. Он часто повторял, что вместо того, чтобы искать друзей среди социологов, он хочет сделать социологами своих друзей. Мне кажется, что роль Саймона Кларка в развитии российской социологии в непростых условиях 90-х годов все еще не получила должной оценки. С одной стороны, он собрал отличный исследовательский коллектив, из которого вырос ИСИТО. С другой стороны, он был одним из руководителей проекта TEMPUS «Развитие социологии в России», на основе которого был открыт Центр социологического образования при Институте социологии РАН. Я принимал непосредственное участие лишь во втором из этих проектов. Исследования трудовых отношений меня не привлекали, но близкое общение с коллегами из команды Саймона имело существенное значение для моего профессионального становления.

Как изменились Ваши исследовательские интересы, планы после стажировки?

Прежде всего, следует сказать о том, с каким теоретическим багажом я оттуда вернулся. В ходе обучения в магистратуре окончательно сформировался круг моих научных интересов – это веберовская традиция в исторической социологии. До поездки в Англию мое знакомство с социологией Макса Вебера было довольно фрагментарным. Я прочел его избранные произведения, изданные в 1990 году, а также ряд посвященных веберовской социологии работ отечественных авторов. Уже вернувшись из Петербурга в свой родной город, я получил от знакомого итальянского социолога, проводившего исследования в Нижнем Новгороде, книгу Г. Рота и В. Шлюхтера “Max Weber’s vision of history”. По-видимому, именно тогда я захотел овладеть веберовским теоретическим языком, и такая возможность появилась в Уорвике. Саймон Кларк, остававшийся приверженцем марксистской теории, скептически воспринял мой веберианский уклон, но всячески меня поддерживал. Главным веберианцем в университете был патриарх британской социологии Джон Рекс. Правда, в то время он работал не в социологическом департаменте, а в центре изучения этнических отношений. Заручившись рекомендацией Кларка, я отправился к нему.

Профессор Рекс помог мне сориентироваться в бескрайней вебероведческой литературе, а когда я набрался наглости и принес ему одно из своих эссе, он высказал очень ценные для меня замечания. В последние месяцы моего обучения преподавателем социологического департамента стал Чарльз Тернер, который незадолго до этого опубликовал монографию о веберовской политической теории. Общение с ним также было чрезвычайно полезным. В целом в течение года, проведенного в Уорвике, я, во-первых, изучал труды Вебера, прежде всего «Хозяйство и общество», а также современные интерпретации его идей. Во-вторых, я читал разнообразную советологическую литературу, как левого толка, которую рекомендовал Саймон, так и более консервативную, которую я находил самостоятельно. В особенности меня заинтересовало «реви-зионистское» направление в изучении социальной истории советского периода (Арч Гетти, Шейла Фицпатрик и др.). В своей магистерской диссертации я попы-

тался объединить новые интерпретации веберовской исторической социологии и ревизионистский подход к советской истории. На основе этой диссертации была подготовлена статья “Max Weber’s concept of patrimonialism and the Soviet system”, которая стала моей первой серьезной научной работой. Она была опубликована в 1996 году в журнале “The Sociological Review”. Но еще до этого вышла моя статья о веберовской концепции патримониализма в «Социологическом журнале» (написанная несколькими месяцами позже). Практически сразу же после завершения магистерской программы я включился в работу по проекту «Развитие социологии в России», в рамках которого подготовил учебный курс «Политическая социология бюрократии». Параллельно этому я защитил кандидатскую диссертацию, посвященную, разумеется, социологической теории Вебера.

Много лет назад я беседовал с А. Б. Гофманом, были вопросы о его работе по социологии Дюркгейма. Теперь задам Вам их, но уже применительно к Веберу.

Вы уже многие годы занимаетесь исследованием творчества Вебера, много публиковали по этой теме. Кто заинтересовал Вас Вебером? Или почему Вы увлеклись его социологией?

Я никогда не считал, что занимаюсь вебероведением. Достаточно сказать, что я так и не удосужился выучить как следует немецкий язык, хотя и предпринимал такие попытки. Меня интересовали не столько интерпретации веберовских текстов, сколько возможности использования идей Вебера для объяснения различных социально-исторических процессов. Интерес к этим идеям начал формироваться еще до Уорвика. Помимо чтения доступных в русском переводе веберовских работ и отдельных англоязычных текстов, этот интерес в той или иной степени стимулировали лекции Р. П. Шпаковой на философском факультете ЛГУ, обсуждение веберовских статей о русской революции в публикациях А. С. Кустарева и, разумеется, труды Юрия Николаевича Давыдова. Впоследствии мне довелось несколько раз встречаться с Ю. Н. Давыдовым в середине 90-х гг., и он вполне доброжелательно ко мне отнесся, хотя то, что я писал тогда о применении концепции патримониализма к советскому политическому режиму, с его точки зрения, безусловно, было ересью.

В конечном итоге мое обращение к социологии Вебера было вполне объяснимым, если и не закономерным. Мои ранние попытки теоретизировать по поводу советской системы привели меня к проблеме власти бюрократии, решения которой в рамках марксистского классового подхода я не видел. Мне захотелось узнать, что писал по этой тематике признанный классик социологии и, возможно, величайший социолог всех времен. Как оказалось, данной проблеме он уделял очень значительное внимание. В то же время, уже погрузившись в веберианскую литературу в университетской библиотеке Уорвика, я обнаружил, что некоторые стороны веберовского анализа бюрократии парадоксальным образом оказались вне поля зрения большинства исследователей. Если об идеальном типе рациональной бюрократии были написаны многие тома, то понятие патримониальной бюрократии оставалось не до конца проясненным. С другой стороны, веберовские работы о русской революции 1905 года также долгое время не становились объектом систематического рассмотрения. В общем, далеко не все стороны творчества Вебера были досконально изучены даже в западной лите-

ратуре. А применение веберовского теоретического подхода для анализа тех обществ, которые сам классик не исследовал достаточно подробно, открывало еще более широкие перспективы. Первоначально я ориентировался, главным образом, на собственные теоретические модели Вебера. Мой подход в то время один мой уорвикский знакомый в шутку назвал «веберовским фундаментализмом». Затем я стал больше интересоваться реконструкциями идеально-типических моделей, не вполне разработанных классиком. В дальнейшем я все более смещался к неовеберовской макросоциологии, представленной, в частности, работами Майкла Манна и Рэндалла Коллинза. Самым недавним теоретическим увлечением стала для меня «поствеберовская» историческая социология, получившая отражение в поздних трудах Шмуэля Эйзенштадта и работах его коллег, в особенности Йохана Арнасона. Но адекватное восприятие этих теоретических подходов было бы невозможным без обращения к собственным трудам Вебера.

Меня интересует личное и внеличное в судьбе именно теоретика социологии. Что можно сказать о Вебере: почему его социальная философия такова, а не иная?

Случай Вебера, конечно же, представляет интерес с этой точки зрения. Я не могу сказать, что досконально знаю обстоятельства его жизни. Естественно, я читал биографию Вебера, написанную его женой Марианной (кстати, несколько лет назад ее перевели на русский язык), а также обращался к журналу “Max Weber Studies”. Но, например, новейшую тысячестраничную биографию Вебера, подготовленную Дирком Кеслером, я в руках не держал (да и написана она по-немецки).

К числу важнейших личных моментов, повлиявших на судьбу Вебера, по-видимому, можно отнести то, что существовала благоприятная среда для проявления его исключительных способностей. В доме его отца в Шарлоттенбурге бывали известные немецкие политики, а также и крупные ученые – В. Дильтей, Т. Моммзен, Г. Трейчке. Еще будучи подростком Макс присутствовал при их дискуссиях. В дальнейшем он получил прекрасное образование в ведущих университетах Германии. При этом Вебера отличала высокая работоспособность. Несмотря на отсутствие религиозной веры он, тем не менее, неуклонно следовал тезису Лютера, согласно которому «человек рожден для труда, как птица для полета» (согласно советской мифологии, человек был рожден для счастья). Однако интенсивная творческая деятельность Вебера была прервана тяжелой болезнью. Я не буду касаться подробностей его конфликта с отцом и последовавшего за смертью отца душевного расстройства. Все это рассказано Марианной в биографии мужа, хотя, по мнению некоторых современных исследователей, ее описание Макса Вебера старшего является весьма тенденциозным, даже «карикатурным». Для самого же Макса Вебера младшего то, что он в течение нескольких лет был не в состоянии заниматься научной работой, конечно, было невыносимым. Когда он, наконец, вернулся к активной деятельности, то явно стремился наверстать упущенное время. Если характеризовать именно социальную философию Вебера, следует, вероятно, обратиться к ее источникам. Можно отметить влияние философии Канта и его последователей. Сам Вебер однажды заметил, что каждого ученого в сфере социальных наук в наибольшей степени характеризует его отношение к идеям Маркса и Ницше. Для Вебера существенное значение имела полемика с историческим материализмом, который он стремился все же не столько «опровергнуть», сколько дополнить. При этом он обращался с ниц-

шеанским радикализмом к решению антиномий человеческого существования. Как показывает, в частности, Вильгельм Хеннис, для Вебера важнейшим был вопрос о том, какой тип личности получает преобладание в тех или иных социальных условиях. Применительно к современной ему общественной ситуации проблема состояла в том, как сохранить остатки индивидуальной свободы в условиях прогрессирующей бюрократизации социальной жизни и что противопоставить повсеместному распространению бюрократического типа «человека порядка». В какой-то момент Вебер стал считать основным противовесом бездушной бюрократической машине явно идеализированный образ харизматического лидера. В целом характерный для веберовской социологии акцент на индивидуальном социальном действии и творческой роли харизмы, преодолевающей структурные ограничения, был, по-видимому, во многом обусловлен обстоятельствами жизни Вебера.

... Ваш ответ о личном и внеличном в творчестве Вебера ясно указывает на то, что это Ваша тема... безусловно, немецкий нужен, но многократно важнее знание работ Вебера и понимание логики научного творчества, что у Вас безусловно есть... писать о личном и внеличном другого очень сложно, надо погрузиться в мир того человека... на мой взгляд, лучшие образцы – Цвейг и Моруа... из российских – Даниил Данин, Борис Кузнецов и Альфред Манфред, конечно Юрий Тынянов.

По-моему, о работах Шмуэля Эйзенштадта я впервые услышал от В. А. Ядова, потом еще кто-то упоминал его исследования. В чем дело? Почему его и его последователей концепции «прижились» (приживаются) на российской почве?

Боюсь, пока еще рано говорить о том, что эти концепции «прижились» на российской почве – они в лучшем случае лишь упоминаются и очень мало используются. Почти нет переводов работ самого Эйзенштадта и представителей его школы исторической социологии. В какой-то степени я попытался заполнить этот пробел в отношении Й. Арнасона, подготовив переводы нескольких его статей. Из основных трудов Эйзенштадта на русский язык перевели лишь книгу «Революция и преобразование обществ», впервые изданную на языке оригинала в 1978 году (правда, с пространным предисловием автора к русскому изданию). Между тем, важнейшие работы этого социолога, заложившие основы нового теоретического направления – концепции множественности модерна (*die Vielfalt der Moderne, multiple modernities*) – публиковались с середины 90-х годов, а итогом его теоретической деятельности стал двухтомник “Comparative civilizations and multiple modernities” (2003). В сущности Эйзенштадт и его коллеги совершили революционный переворот в науке, радикально пересмотрев теорию модернизации. По-видимому, не будет большим преувеличением сравнить концепцию множественности модерна с теорией относительности Эйнштейна (хотя Парсонс в таком случае оказывается в роли Ньютона, что как-то чересчур). Эйзенштадт разработал новый подход к анализу динамики традиционных цивилизаций, сложившихся в период «осевого времени», и на этой основе обратился к анализу цивилизационных оснований различных типов общества модерна. В трудах Эйзенштадта убедительно показана несостоятельность понимания модернизации как «вестернизации». При этом он не впадает в другую крайность, характерную для всякого рода «постколониальной» критики всего западного. В отличие от ранних версий теории модернизации концепция Эйзенштадта подчеркивает

контингентный, противоречивый и даже антиномичный характер этого процесса. Конечно, работы Эйзенштадта довольно сложны для восприятия — это «высокая теория» в стиле Парсонса. Но если преодолеть сложности стиля и вникнуть в содержание этих работ, то открываются захватывающие дух теоретические глубины. А для понимания модернизационной динамики российского общества Эйзенштадт и Арнасон дают больше, чем какие-либо другие теоретики современной социологии.

Нередко после защиты кандидатской диссертации люди в силу многих причин меняют или серьезно модифицируют тематику своих исследований. О каких направлениях своих будущих поисков Вы раздумывали, на чем остановились?

Каких-то существенных изменений в направлении моих исследований после защиты кандидатской не произошло. Я еще не исчерпал тот теоретический багаж, который был приобретен в Уорвике, и какое-то время продолжал двигаться по накатанной колее. Меня по-прежнему интересовало применение теоретических моделей Вебера и неовеберинской социологии для анализа социальных трансформаций в российском обществе, в особенности формирования советской системы и ее распада. Не могу сказать, что я постоянно и целенаправленно занимался этой проблематикой. Слишком много времени отнимало преподавание, а в начале 2000-х гг. я включился в ряд образовательных проектов Института «Открытое общество» и Национального фонда подготовки кадров — разрабатывал лекционные курсы и учебные материалы по современным социологическим теориям, исторической социологии и политической социологии. Новый поворот в моих теоретических изысканиях наметился примерно шесть лет тому назад, когда я открыл для себя работы представителей школы Эйзенштадта в исторической социологии.

Михаил, пожалуйста, расскажите о своей работе по образовательным проектам, никто из моих собеседников этой темы не касался. Что это за институции: Институт «Открытое общество» и Национальный фонд подготовки кадров? Какие лекционные курсы и учебные материалы разрабатывали именно Вы? Что на выходе: методические рекомендации, тексты лекций...?

Институт «Открытое общество» — структура фонда Сороса. В начале 2000-х он поддерживал в том числе и подготовку новых учебных курсов по социальным наукам на кафедрах российских вузов. Аналогичную образовательную программу примерно в это же время финансировал Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) — отечественная структура, распределявшая средства займа Всемирного банка на модернизацию российского высшего образования. По грантам, полученным в рамках проекта НФПК факультетом социальных наук Нижегородского госуниверситета и Центром социологического образования при Институте социологии РАН, я подготовил лекционные курсы и учебные пособия, которые были затем изданы: «Социология политики: классические и современные теории» (Москва, 2004) и «Современная западная теоретическая социология» (Н. Новгород, 2005). По гранту Института «Открытое общество» мной был разработан учебный курс «Историческая социология», но средства на издание материалов курса не предусматривались. В рамках этих проектов удалось расширить связи с зарубежными коллегами. Так, по моему приглашению в Нижний

Новгород приезжали из университета Уорвика для чтения спецкурсов (в течение всего лишь одной недели) нашим студентам Саймон Кларк, Джон Рекс и Чарльз Тернер. А преподаватели и аспиранты Нижегородского университета получили возможность непродолжительных стажировок в Уорвике и университете Эссена в Германии.

И в чем заключался этот новый поворот? Вы его обнаружили в процессе каких-то внутренних поисков, несогласия с тем, что Вы читали, открывшейся вдруг недостаточностью знакомого Вам концептуального аппарата или был внешний импульс: семинар, заявка от вышеназванных образовательных структур?

Основной импульс был все-таки внутренним, хотя внешние условия также сыграли свою роль. В частности, очень полезными были поездка в Центр учебных ресурсов при Центрально-Европейском университете в Будапеште в 2006 г. и стажировка в университете Хельсинки в 2009 г. (все это было уже после завершения упомянутых выше образовательных проектов). «Новый поворот» происходил постепенно под влиянием чтения работ представителей концепции множественности модерна: Эйзенштадта, Арнасона, а затем еще и Бьорна Виттрока, Питера Вагнера, Вильфрида Шпона, Вольфганга Кнебля. Например, статью Арнасона «Коммунизм и модерн» я перечитывал несколько раз и, наконец, перевел ее на русский язык (перевод вышел в «Социологическом журнале» в 2011 г.). Просто есть такая трудно объяснимая вещь, как чувство научной истины. Не думаю, что оно у меня как-то особенно развито, но, кажется, я его не лишен. В определенный момент начинаешь осознавать, что что-то может быть только так, а не иначе. Это как при смене парадигм, описанной Томасом Куном, когда начинаешь смотреть на мир другими глазами. Дополнительный внешний импульс я получил на Всемирном социологическом конгрессе в Гетеборге в июле 2010 г., когда мне удалось наяву увидеть некоторых исследователей, работами которых я зачитывался, и даже установить какие-то контакты в рамках рабочей группы «Историческая и сравнительная социология». На секциях рабочей группы во время конгресса я в полной мере ощутил себя «среди своих». Вскоре мне удалось обнаружить единомышленников и в среде российских коллег — в Социологическом институте РАН.

Да, я заметил, что в последних интервью — с младшими представителями пятого поколения и социологами шестой когорты — упоминается историческая социология. Меня даже один из наших старейших социологов — В. В. Колбановский летом пытался раскачать на обсуждение этой темы... но я ушел, пока не готов... в российскую социологию, я вижу, эта концепция пришла лишь в последние годы... кого из коллег в СИ РАН вы имеет в виду?

В СИ РАН в секторе истории российской социологии, который возглавляет В.В. Козловский, помимо собственно истории отечественной социологической мысли на протяжении нескольких лет изучался цивилизационный анализ в мировой социологии. В секторе этой проблематикой занимаются сам В.В. Козловский, а также Руслан Браславский и Юлия Прозорова, принадлежащие уже к шестому поколению российских социологов. В сентябре 2011 г. силами сектора при моем участии была организована представительная международная конференция «Цивилизационная динамика современных обществ»,

на которую нам удалось пригласить ведущих зарубежных ученых — Й. Арнасона и Б. Виттрока. Материалы конференции были опубликованы в спецвыпуске «Журнала социологии и социальной антропологии» (2012, № 6).

Спасибо, Михаил, все освою... Вернемся к траектории Вашей жизни... итак, в поле Вашего внимания появились идеи исторической социологии. И Вы решили в рамках этой концептуалистики строить докторское исследование, так?

Да, докторская диссертация, которую я защитил в 2004 г., была посвящена проблематике исторической социологии. Прежде всего, я стремился продемонстрировать возможности неовеберианской макросоциологии для анализа масштабных процессов социальной трансформации, происходивших в советском обществе в 20–30-е годы. Но не могу сказать, что поставленные в работе задачи были полностью решены. К этому времени уже начала сказываться истощенность теоретического подхода, который сложился у меня в середине 90-х годов, а «новый поворот» еще не наступил. Одним из оппонентов на защите был Павел Романов, с которым я был знаком еще с урвикских времен. В официальном отзыве он деликатно не стал акцентировать недостатки работы, но между собой мы все обсуждали достаточно откровенно. Помню, что меня поразило, какой рывок вперед он совершил за прошедшие несколько лет. Я же если и не топтался на месте, то продвигался к новым горизонтам значительно медленнее. Трудно поверить, что Павла больше нет. Крутится в голове строчка Высоцкого: «Мне теперь не понять, кто же прав был из нас...»

Вот уж точно: «...Когда он не вернулся из боя». Если можно, что Вы тогда обсуждали с Павлом? В какую сторону он тогда рванулся? С 2004 года прошло десять лет, за это время что Вам удалось сделать в области исторической социологии?

Я уже не помню всех подробностей тех разговоров, но сохранилось общее впечатление. С Павлом мы много общались во время стажировки в университете Манчестера в рамках проекта TEMPUS в начале 1995 года. Нас поселили тогда в соседних комнатах в аспирантском общежитии. Я запомнил его находившимся в поиске и еще не вполне уверенным в своих силах. В 2004 году это был уже сложившийся ученый, который нашел свой путь в науке и продвигался по этому пути спокойно и целенаправленно. У меня же в то время начинался период сомнений и неопределенности. Кстати, именно благодаря Павлу еще во время манчестерской стажировки я познакомился с Геннадием Семеновичем Батыгиным, который тогда вместе с В. В. Радаевым и А. Ф. Филипповым готовил открытие Московской школы социальных и экономических наук — «шанинской школы». Несколько вечеров, которые мы провели в беседах с Геннадием Семеновичем, оставили сильное впечатление. Когда после одной из таких бесед я принес Батыгину текст своей русскоязычной статьи о концепции патримониализма, то на следующий день получил от него исписанный мелким почерком лист с разбором этой статьи. Ни до этого момента, ни после я не получал от кого-либо из российских социологов столь глубокого анализа своей работы. Впоследствии в каждый свой приезд в Москву я старался непременно зайти в редакцию «Социологического журнала». Что же касается моих собственных достижений после 2004 года (фактически начиная с 2008 года), это, прежде всего, попытка внедрить в отечественный научный дискурс идеи представителей кон-

цепции множественности модерна. Возможно, самое важное, что я сделал в своей научной карьере, – перевод статей Й. Арнасона и интервью с ним. По большей части я оставался в рамках истории и теории социологии, пытаюсь главным образом исполнять просветительскую функцию.

Но я стремился также показать возможности нового подхода к анализу процессов модернизации для понимания постсоветских политических трансформаций. На мой взгляд, разработанные в рамках концепции множественности модерна понятия «межцивилизационного взаимодействия» (intercivilizational encounters – термин «столкновение» здесь не подходит из-за ассоциации со злополучной концепцией Хантингтона) и «чередующихся типов модерна» (alternating modernities) имеют непосредственное отношение не только к дореволюционной российской и советской истории, но и к сегодняшнему дню. С позиций этого направления анализировались также особенности имперских политических структур, их соотношение с различными цивилизационными основаниями и проектами модерна, альтернативными западному либеральному модерну. Тема империи, которая в последние годы привлекла внимание многих историков, в социологии практически не разработана. В числе немногочисленных исключений – труды Эйзенштадта и его последователей. Между тем, анализ разнообразных траекторий постимперских политических трансформаций сегодня оказывается как никогда ранее актуальным. Все эти вопросы интересовали меня в последнее время, и я опубликовал несколько статей и рецензий на эти темы в социологических и политологических журналах.

Не могли бы Вы указать, в какой мере построения, концепции исторической социологии используются в прикладной социологии, при изучении динамики и/или межкультурных особенностей массового сознания?

В прикладных исследованиях динамики массового сознания концепции современной исторической социологии использовались до сих пор явно недостаточно. Исключением здесь являются, в частности, исследования Левада-Центра. В работах Б. В. Дубина и Л. Д. Гудкова динамика массового сознания рассматривается в широком историческом контексте и с привлечением классических и современных социологических теорий. Однако на концепцию множественности модерна они, насколько мне известно, не ссылаются. Между тем, анализ «абортивной модернизации», осуществленный Гудковым, по-видимому, неплохо сочетается с этим направлением. Среди ведущих российских социологов на идеи представителей цивилизационного анализа в исторической социологии опирается О. И. Шкаратан. В его работах выделяются в том числе и межкультурные особенности массового сознания, порожденные цивилизационной спецификой российского и восточноевропейских обществ.

Вы недавно переехали в Санкт-Петербург, работаете в Социологическом институте РАН. Каковы Ваши исследовательские планы на ближайшие годы?

Мои ближайшие планы во многом связаны с тематикой институтского сектора. Совместно с коллегами мы завершаем сейчас исследовательский проект «История российской социологии в условиях социокультурных изменений: практики и эффекты модернизации российского общества». В рамках этого проекта я отвечал в основном за направление, связанное с историко-социологическим

анализом моделей российской модернизации. Некоторые вопросы остаются не до конца проясненными, и нужно будет продолжить их разработку. По крайней мере, мне понятно общее направление исследований и есть необходимый для них теоретический фундамент. Но я стараюсь пока не строить долгосрочных планов.

Кстати, с недавних пор в соседнем секторе СИ РАН работает моя жена Елена. Она специализируется по проблемам социологии права, которая, как и историческая социология, развита у нас сегодня недостаточно. В сфере социально-правовых исследований юристы, опирающиеся на собственную правовую теорию, обычно рассматривают социологию как сугубо прикладную дисциплину, которая должна поставлять им эмпирические данные, но не претендовать при этом на какие-то теоретические обобщения. В социологии права существует потребность соединения теоретического и эмпирического уровней исследования на основе именно социологического, а не юридического подхода. Елена занималась как теоретическими проблемами, так и эмпирическими исследованиями судебной системы и юридической профессии. На мой взгляд, ей удастся сочетать эти два уровня, тогда как у меня сохраняется чрезмерный теоретический уклон.

Преподаете ли Вы историческую социологию в каких-либо Питерских университетах? Уже есть российские учебники по этой тематике?

Историческую социологию, так сказать, «в чистом виде» я не преподаю. Вместе с тем в Высшей школе экономики в Петербурге у меня есть курсы по политической социологии и современным социологическим теориям, в которые я включил некоторые темы, имеющие отношение к исторической социологии. Российские учебники по этой тематике уже издавались. В их числе можно выделить книгу Б. Н. Миронова «Историческая социология России», которая опирается на его получившее широкую известность исследование социальной истории периода империи. Кроме того, монография Н. В. Романовского «Историческая социология» может быть использована и для преподавания этой дисциплины.

В свете Ваших исследований по истории российской социологии задам Вам один вопрос, относящийся к траектории Вашего – и ряда специалистов Вашего и следующих поколений – вхождения в социологию. В каком смысле Вы являетесь продолжателем традиций советской социологии? Нет ли у нас основания говорить о том, что творчество значительной части 30-ти и 40-ка летних социологов крайне слабо, весьма условно можно трактовать в рамках развития традиций социологов-шестидесятников?

Все-таки мой случай во многом не типичен. Я получал западное социологическое образование, имея довольно смутное представление о достижениях советских социологов-шестидесятников, и лишь затем постепенно осваивал результаты их исследований. К тому же меня, прежде всего, интересовала история теоретической социологии. Например, такой сюжет, как рецепция идей Макса Вебера в российской социологии, был мне значительно ближе, чем развитие прикладных социологических исследований. Тем не менее, я не стал бы говорить, что нет совсем никакой преемственности между советской социологией и представителями моего поколения. Но в рамках этого поколения, по-видимому, можно выделить различные группы, расположенные на определенном континууме:

от тех, кто изначально был ориентирован исключительно на западные подходы до тех, кто в значительной степени воспринял традиции, заложенные предшествующими поколениями отечественных исследователей.